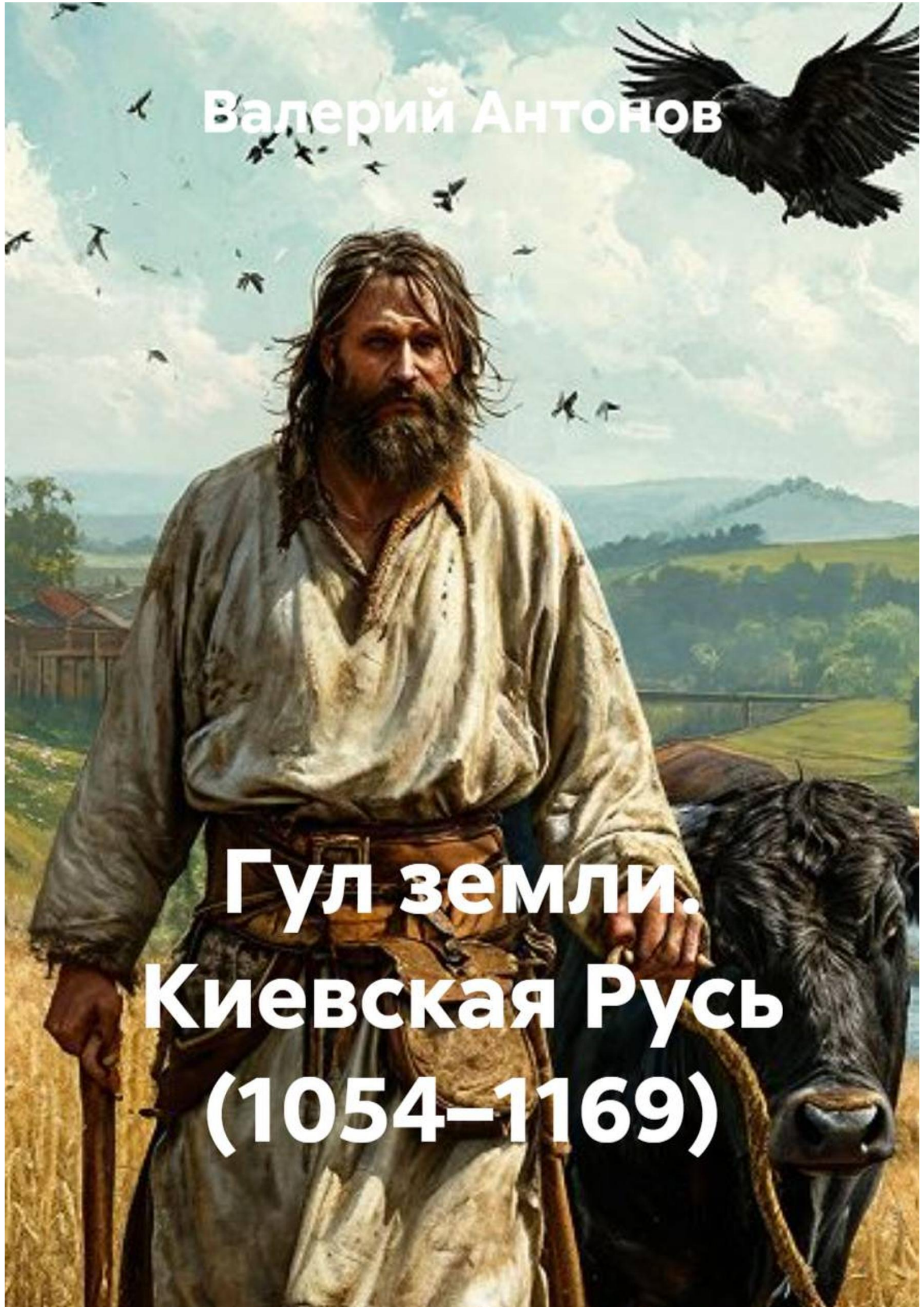




Валерий Антонов

**Гул земли.
Киевская Русь
(1054–1169)**

Валерий Антонов

**Гул земли. Киевская
Русь (1054–1169)**

«Автор»

2026

Антонов В.

Гул земли. Киевская Русь (1054–1169) / В. Антонов — «Автор», 2026

«Гул земли» — исторический роман-хроника, в котором древняя Русь предстаёт живым, дышащим организмом. Герои — не князья и не святые. Кормчий Мирон, знающий реку лучше сердца. Свечник Малыш, чьё имя — единственное, что осталось у холопа. Боярин Путята, увидевший, как народ сжигает дворцы, и понявший: старые законы мертвы. Хан Белдуз, наёмник и изгой, знающий: степь и Русь — одного поля ягоды. Летописец Сильвестр, создающий миф и плачущий над собственной ложью. Восемь судеб. Семьдесят лет русской истории. От смерти Ярослава до пожара 1169 года. Каждый персонаж дышит историей, говорит языком своего времени. Но главный герой — сама земля. Она помнит всё: обугленные зёрна, плуги Ольги, княжеские ножны и босые ноги челяди. Она слышит гул, который не слышат люди. Она знает, что всё повторится. И ждёт. «Гул земли» — не просто роман. Это голос почвы под ногами. Хроника, написанная не пером, а лемехом, мечом и пеплом. Для тех, кто любит историю как живую кровь и глину.

© Антонов В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Аннотация	5
Пролог. Утро на исходе.	6
Глава 1. Земля и Плуг.	9
Глава 2. Взгляд со стороны. Сакс и Скандинав.	14
Глава 3. Голос земли.	16
Глава 4. От Огня к Борозде	19
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Валерий Антонов

Гул земли. Киевская Русь (1054–1169)

Аннотация

1054 — смерть Ярослава Мудрого. Начало усобиц.

1097 — Любечский съезд. «Кождо да держит отчину свою».

1113 — восстание в Киеве. Устав Владимира Мономаха.

1169 — разорение Киева Андреем Боголюбским.

«Гул земли» — исторический роман-хроника, в котором древняя Русь предстаёт не как череда летописных дат, а как живой, дышащий, страдающий организм.

Герои книги — не князья и не святые. Кормчий Мирон, который знает реку лучше, чем своё сердце. Свечник Малыш, чьё имя — единственное, что осталось у холопа. Боярин Путята, видевший, как народ сжигает дворцы, и понявший, что старые законы мертвы. Хан Белдуз, наёмник и изгой, который знает: степь и Русь — одного поля ягоды. Летописец Сильвестр, создающий миф о призвании варягов и плачущий над собственной ложью.

Восемь судеб. Семьдесят лет русской истории. От смерти Ярослава Мудрого до пожара 1169 года. Здесь нет вымышленных героев — каждый персонаж дышит историей, говорит языком своего времени, носит одежду своей эпохи. Но главный герой книги — сама земля. Она помнит всё: обугленные зёрна ржи в ямах-хранилищах, тяжёлые плуги Ольги, серебряные ножны княжеских ножей и босые ноги челяди. Она слышит гул, который не слышат люди. Она знает, что всё повторится. И она ждёт.

«Гул земли» — это не просто роман. Это голос почвы под ногами. Это хроника, написанная не пером, а лемехом, мечом и пеплом. Для тех, кто любит историю не как набор фактов, а как живую кровь и глину.

Пролог. Утро на исходе.

Утро на исходе. Солнце ещё не поднялось над Десной, а ворон уже был в воздухе. Он поднялся с гнездовья на дубу у Вышгорода, поймал крылом восходящий поток и, почти не шевеля перьями, пошёл на юг — туда, где Днепр разливался широкой дугой, а над водой вставал город.

С высоты Киев лежал как раскрытая ладонь. Ворон видел тёмную змею Золотых ворот, частоколы, тесовые кровли, купола Софии — медь на них блестела так ярко, что слепила глаз, но стены ещё пахли свежей известью, а кое-где между каменными плитами чернели щели незаконченной кладки, — и дальше, за Щековицей, сизый дым над Подолом. Там уже пробуждались люди. Скрипели ворота колодцев. Бабы выносили золу из остывших очагов. Где-то мычала скотина.

Всё это — дым, скрип, мычание — доносилось до ворона еле слышным гулом, который ничего не значил для его пустого желудка. Ему нужен был только ветер и то, что он несёт. Ветер сегодня дул с запада, с Верхнего вала, и приносил запах сырой земли, мокрой шерсти и железа. Железо пахло тревожно — так пахнет оружие, которое перекалывают с места на место, которое чистят и точат перед походом. Ворон этого не знал. Он просто чувствовал: там, внизу, что-то движется. И он кружил, ожидая.

В тот самый час, когда ворон поймал крылом первый луч, на Лысой горе старик лежал на земле. Он лежал у корней расколотого дуба, прижав ухо ко мху, и слушал. Глаза его были закрыты, губы шевелились беззвучно. Он не молился — он спрашивал.

Земля под ним была холодная, пахла грибами и прелью. Старик знал это место с детства. Он помнил, как отец приводил его сюда и велел лечь и слушать: *«Земля говорит, только не всякий слышит. Ты слушай не умом — нутром»*. И сейчас, спустя шесть десятков лет, он снова слушал нутром.

Там, глубоко, под корнями, под песчаной подушкой киевских холмов, под глиной и мелом, шёл гул. Ровный, далёкий, утробный, похожий на вздох исполина, которому придавили грудь камнем. Старик знал этот гул. Он слышал его трижды в жизни: перед смертью Святополка Окаянного, перед приходом печенегов и теперь. Гул был не страшный — печальный. Как будто сама земля вздыхала, зная, что будет дальше.

— Коней куют, — прошептал старик. — Братья коней куют. На братьев.

Он открыл глаза. Над ним качалась ветка дуба, и на ней сидел ворон. Старик посмотрел на птицу и усмехнулся:

— И ты туда же? Лети, лети. Только мёртвые вас накормят.

Ворон не слышал. Он уже оторвался от дуба и пересёк небо над Копыревым концом, над оврагами, над горой, где белела Десятинная. Теперь он видел Золотые ворота — тяжёлые, обитые медью, темнеющие в утреннем свете. Над проёмом, на церкви Благовещения, что венчала ворота, на самом кресте сидел голубь. Голубь был бел, как снег, и совершенно неподвижен. Он не ворковал, не вертел головой, не чистил перья. Он просто сидел, глядя в одну точку — куда-то вниз, на дорогу, ведущую от ворот к Подолу.

Ворон пролетел над ним, тенью накрыл белую птицу, но голубь даже не шелохнулся. Внизу стражник у ворот, молодой гридень в кольчуге из варяжской стали, поднял голову и заметил птицу. Он смотрел на неё долго, потом сплюнул через левое плечо:

— Принесла нелёгкая. Сидит, ровно гвоздём пришта. К чему бы?

Никто ему не ответил. Второй стражник дремал, прислонившись к створу. А голубь всё сидел, и ворон, сделав круг, полетел дальше — к Щековице.

Над Щековицей ветер переменился. Теперь он дул с низины, от Почайны, и нёс с собой запах рыбы, дыма и мокрой земли. Но под этими запахами, под спокойным утренним дымом очагов, волк учуял другое.

Он стоял на самом краю холма, над обрывом, и нюхал воздух. Волк был стар. Он пережил десяток зим, три мора и две большие охоты. Он знал людей. Знал их запах — кислый, солёный, железный. Знал запах их костров и их страха. Сегодня к привычным запахам примешивалось что-то новое: металлический привкус чужого железа, которое везли откуда-то издалека. Не отсюда. Не из этих очагов.

Волк поднял морду. С его губ слетело облачко пара. Он не завыл — только тихо, почти беззвучно оскалится. Где-то внизу, на Подоле, заскрипел колодезный ворот.

У колодца, что у самого перекрёстка, сошлись три бабы. Первая — старая, в понёве и сбитом набок повойнике, — поставила ведро на сруб и говорила:

— Слыхала? Князь-то наш, Ярослав, помираяючи, сынам завещал: не ссорьтесь, мол, землю не делите, живите в мире. А толку? В одном доме и то братья грызутся, а тут целая земля.

Вторая, помоложе, с грудным на руках, покачала головой:

— Старший, Изяслав, говорят, святой человек. Не то что Святослав или Всеволод. Этот мир соблюдёт. Вот увидишь.

Третья, девка лет семнадцати, простоволосая, босая — поршни её стояли рядом на камне, — вдруг засмеялась — коротко и зло:

— Жди. Соблюдёт! Как же. Мой батька в дружине ходил, он сказывал: когда стол делят, каждый норовит кусок пожирнее ухватить. А мир... Мир — это пока силы нет воевать. Вот накопят — и пойдут.

Старая перекрестилась.

— Типун тебе на язык.

— А чего язык-то? — девка подхватила деревянные крючья коромысла, забросила дужки вёдер на плечи и пошла прочь, нарочно расплёскивая воду на пыльную траву. — Язык правду говорит. Только правду никто не слушает.

Молодая проводила её взглядом и вдруг сказала тихо:

— А у меня муж в Чернигов собирается. Говорят, Олег Святославич опять за море бежал и теперь с варягами воротится. Или с печенегами. Разве разберёшь?

— Вот и я о том, — старая подняла ведро. — Разве разберёшь? Земля слухами кормится, а правда — она где-то там, под землёй. Её не слышно.

А под землёй, под колодцем, под слоем глины и утрамбованного песка, лежала та, кто слышала всё. Земля. Она чувствовала, как её тело пронизывают корни, как по нему ползут кроты, как в его недрах лежат забытые вещи — не просто черепки, а свидетели. Вот под гребнем вала покоится сошник, привезённый из Волго-Камского края, железный и тяжёлый. Рядом обломок рала — деревянного предка плуга. А дальше, в слое угольной прослойки, — обугленные зёрна ржи и проса, обожжённые в ямах-хранилищах. Земля помнила их тепло, помнила руки, которые бросали семена в рыхлую золу подсеки, а потом — в глубокую борозду плуга.

«Вы думаете, я — дикая степь, — шептала Земля в гуле своих недр. — Вы думаете, ваши предки бегали с луками за белками, как напишут о вас потомки в толстых книгах, которые истлеют быстрее моих корней? Глупцы. Я дышу пылью пшеницы и ячменя ещё со времён скифов. Именно хлеб, а не пушнина, сделал вас оседлыми. Я чувствую на своей груди тяжесть княжеского плуга Ольги. Вот здесь, по Деревской земле, пролегли её уставы и уроки. И стоят её погосты. Это не охота — это земля стала мерой власти. И теперь она стонет от копыт, потому что вы, дети, забыли, что я ваша мать».

В этот миг высоко над ними, над колодцем, над Подолом, над Золотыми воротами и Лысой горой, ворон закончил круг и полетел на север. Он не знал имён. Не знал, кто такие Ярослав, Изяслав, Олег. Он не слышал разговоров у колодца и не понимал гула земли. Но он видел всё сразу: город, дымы, реку, дороги, уходящие в разные стороны. Он видел, как по

дорогам уже движутся люди — кто пеший, кто конный. Видел, как блестит на солнце оружие. Видел, как волк уходит с холма в овраг, чуя то, чего ещё не чувят люди.

Он набрал высоту, поймал восходящий поток и, скользнув в небесную синь, полетел вперёд — туда, где земля уже начинала дрожать.

А внизу, на Лысой горе, старик всё ещё лежал у корней дуба. Он слышал, как ворон хлопает крыльями где-то в вышине, и думал: *«Вот и всё. Началось»*.

Он сел, отряхнул с колен мох и, тяжело поднявшись, пошёл вниз, к городу. Его никто не ждал. Его никто не слушал. Но земля уже знала. И ветер. И птицы. И зверь.

Только люди ещё не ведали.

Глава 1. Земля и Плуг.

Просыпаюсь я всегда прежде воды. Прежде, чем плеснет первая волна о песок отмели, прежде, чем туман поползёт с лугов, прежде, чем птица начнёт пробовать голос.

Лежу в темноте, слушаю, как спит река. Река спит не тихо — она дышит, ворочается, вздыхает подо мной, и сквозь просмолённые доски я чувствую каждое её движение. Я старик. Полвека на воде. Я знаю этот плёс, как баба знает своё дитя — по дыханию понимаю, здоровое или хворое.

Сегодня река дышит ровно, но как-то натужно. Будто у неё тяжесть в груди.

Я свешиваюсь с борта, зачерпываю горстью воду, пробую на язык. Вода холодная, с песчинкой — значит, в верховьях дожди были. Ничего, пройдем. Всегда проходили.

Мы шли не на боевом насадном ушкуе, а на широком торговом учане — днище из цельного дуба, набитые борта для высоты, грузоподъёмность добрая. Такие ладьи ходят от Любеча до Киева уже три поколения. Я знаю каждую щепку в этом днище.

Вокруг меня начинает просыпаться ладья. Первым, как всегда, встаёт Ждан — мой племянник, сын покойной сестры. Молодой ещё, двадцать вёсен, а уже плечи — что твои вёсла. Он спит на носу, под рогожей, и просыпается беззвучно, как зверь. Слышу, как скребёт ногтями голову, как надевает поршни — сыромятная кожа скрипит, — как идёт ко мне, переступая через спящих.

— Дядько, — говорит вполголоса, — ветер с востока. Пахнет гарью.

Я киваю. Я уже сам почуял. Гарь далёкая, не от костра — так пахнет степь, когда палят траву. Или так пахнут пожарища. Но до степи далеко, а гореть в Киеве пока нечему. Значит, где-то жгут по ту сторону. Там, где, говорят, Олег опять мутит воду.

— Про то не думай, — говорю Ждану. — Наше дело — река. Буди команду.

Он уходит, а я остаюсь у кормила. Я стою босыми ногами на смоленом днище — так чувствуешь лодку кожей. А Ждану в его сыромяти только и остаётся, что цепляться пальцами. Рулевое весло — тяжёлое бревно из ясеня. Я наваливаюсь грудью на шершавый валёк кормила, чувствуя, как трещат старые рёбра. Кормило упирается в специальный выступ-коргу на корме, и я давлю на него всем весом тела, поворачивая нос по течению.

И думаю о сыне.

Мой Мирон не был водным человеком. Я брал его на ладью мальчишкой, но его всегда тянуло не к воде, а к оружию. Он смотрел, как проходят мимо княжьи дружины, и глаза у него загорались. «Батя, — говорил, — река что? Река всю жизнь течёт одинаково. А там — слава, добыча, честь». Я ему отвечал: «Слава — это кровь, добыча — это чужое горе, а честь — это когда спину не показываешь. А река... река, сынок, она живая. Она не предаст».

Не послушал. Ушёл в дружину к Изяславу Ярославичу. И сгинул. Не на печенеггах, не на половцах — на своих. Где-то под Черниговом, в усобице, когда брат на брата пошёл. Мне потом сказали: «Славно бился, молодец». Легче мне от этого? Нет. Река бы не предала. А князя предали. И мой сын лёг за их правду. Какую — до сих пор не знаю.

Команда просыпается. Нас семеро — малая ладья, широкая, на пятнадцать локтей, с набитыми бортами для груза. Хотя от стрел это не спасает — от стрел спасает только быстрое весло и знание плёса. Мы идём сверху, от Любеча, везём соль, мёд в колодах и две бочки смолы для киевского торгова. Груз хороший, но опасный. Смола — она и для пожара годится, и для конопатки. Купцы платят серебром. Если довезём.

Люди мои — все со мной не первый год. Молчун — огромный мужик из радимичей, прозванный так за то, что за день двух слов не скажет. Доброга — старый, но жилистый, с лицом в шрамах от печенежского плена. Братья Крут и Мал — сироты, я их подобрал на пристани лет десять назад, теперь вот выросли. И Ждан. И я.

Я смотрю, как они умываются забортной водой, как завязывают поршни, как проверяют уключины. Обувь — первое дело на ладье. В поршнях из сыромяти нога скользит по мокрому дереву, и если упасть на волоке с поклажей — кости переломаешь. У меня сапоги варяжские, старые, с обмоткой до колена — я их сам кожей обшил, чтобы воду держали. Двенадцать лет ношу, живые ещё. Как я.

Ждан подходит к Доброге и начинает разговор, которого я ждал и боялся. Мой племянник смотрит на берег, где чернеют вырубки, и качает головой.

— Доброга, — говорит он, — а правду ли бают, что наши деды не пахали, а лес жгли? Земли вон сколько, зачем её резать плугом, как мы, когда можно дерево повалить да пепел посеять?

Доброга отрывается от весла, смотрит на Ждана, и в его глазах — насмешка старика, который знает, что молодость глупа.

— Правду бают, парень, — отвечает он, и голос его звучит сухо, как щепка. — Только ты не путай — подсека, она для дикарей. Пока лес вырубил, пока он высохнет, пока выжжешь — сорок пять дней на десятину уходит, не меньше. И то, если всей семьёй взяться. А кормит она тебя три года, не больше. Потом земля пустая — иди, ищи новый лес. Так мы и жили, как звери: выжгли — ушли. Ни дома, ни двора, ни памяти. А теперь мы пахари. Плуг железный землю режет, бык тянет, рожь колосится на одном месте из года в год. Мы не кочевники. Мы — те, кто остаётся.

Я слушаю Доброгу и чувствую, как его слова ложатся в мою душу, как они совпадают с тем, что я сам знаю, но не умею сказать. Рука моя сама тянется к лемеху, что лежит на дне ладьи. Я провожу пальцем по холодному железу и думаю: «Вот он, наш плуг. Мой дед пахал деревяшкой — ломалась она, не могла развернуть дернину. А теперь мы режем землю, как ножом. Это даёт нам хлеб. И это держит нас на месте. Но это же и ссорит нас. Потому что когда у тебя есть плуг, у тебя есть поле. А когда есть поле — у тебя есть межа. А когда есть межа — у тебя есть сосед, который её перепашет, и князь, который с тебя за это три гривны возьмёт».

— Дядько, — снова голос Ждана, он стоит у носа, держит шест, — туман сходит. Видно порог.

— Вижу.

Первый порог. Неясить. Это не просто камни. Это пасть. Река здесь сжимается, вода ревёт, как раненый зверь, и пена стоит выше человеческого роста. Мы проходим его на вёслах, медленно, вдоль левого берега, где струя слабее. Я стою на корме, рулевым веслом правлю, а сам считаю про себя: «Раз, два, раз, два». Ритм. В нём всё. Если сбиться — камни порвут днище, как нож — холстину.

Молчун налегает на весло так, что дерево трещит. Доброга вторит ему. Братья гребут в такт, не отставая. Ждан на носу отталкивает шестом плавник — мокрое бревно, несущееся на нас. Я вижу каждую струю, каждый водоворот. Я знаю этот порог, как знаю ладонь своей руки. Вот здесь надо взять левее — там, под водой, камень-зуб, он вспорол уже три ладьи на моей памяти. Вот тут — поддать ходу, чтобы струя не снесла на скалу.

— Навались! — кричу. — Раз, два! Раз, два!

Ладья вздрагивает, проходит над зубом — я слышу, как камень скребёт по днищу, но это не страшно, это мель, мы скользим. И вот — всё. Вода впереди снова гладкая, широкая, спокойная. Прошли. Смеёмся. Смех на воде — это хорошо. Это значит, живы.

К обеду мы у Неясити-острова, где обычно ночуем. Здесь волок. Дальше идти нельзя — второй порог, Ненасытец, он страшнее первого. Там вода падает с уступа в три человеческих роста, и через него даже пустую ладью не провести. Надо разгружаться и тащить волоком.

Мы вытаскиваем ладью на песок, выгружаем колоды и бочки, переворачиваем учан и кладём на катки — четыре бревна, смазанных салом. Молчун и Доброга берутся за передние

лямки из лыка, перекинутые через плечи, мы с братьями — за задние, Ждан подкладывает катки. И пошли.

Волок — это работа для скотины, а не для людей. Ладья тяжёлая, песок рыхлый, пот заливает глаза. Ноги скользят в поршнях, кожаные подошвы разъезжаются на мокрой траве. Я чувствую, как лыковые лямки врезаются в плечи. Я чувствую, как хрустит спина. Я чувствую каждый свой год. Но я молчу — команда смотрит на меня, и если я сдам, сдадут все.

В какой-то момент, когда мы останавливаемся передохнуть, Ждан садится рядом со мной и смотрит на реку. Я вижу, что он хочет что-то сказать, но мнётся. Наконец он решается.

— Дядько, — говорит он, — вот мы везём смолу, мёд, соль. Купцы на торгу продадут это втридорога, а нам — гроши. А князьям и боярам — золото. Говорят, Олег ходил на Царьград и прибил щит к воротам. Говорят, Игорь торговал с греками. А нам, смердам, что с того? Мы пашем, мы гребём, мы тащим волоком, а серебро — им.

Я смотрю на него, и в груди поднимается горечь. Он прав. Но я не могу ему сказать всей правды. Или могу?

— Не путай, Ждан, — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Ты думаешь, торговля с Царьградом была ради нас, ради того, чтобы смерды ели досыта? Нет. Бояре говорят о золоте, о паволоках, о винах. А мы везём смолу для их ладей и мёд для их пиров. Смерд кормит себя, а купец кормит князя. Так было при Олеге, так при Ярославе. И Мономах не изменил этого — он только прикрыл ростовщиков своим Уставом. Я видел, как купцы меняют меха на серебро на торгу. Меха эти — смерды добывают, в лесах, по зимам. Но я тебе скажу, парень: не пушнина нас держит. Хлеб, что мы растим на своей земле — вот что кормит и князя, и боярина, и дружину. Я это понял, когда мы голодали в 1061 году. Помнишь, что старики говорят? «Купили кадку малую по 7 кун». Это не меха спасли нас тогда. Это остатки ржи, что мы закопали в ямах. Мех греет тело, а рожь держит душу в теле. Князья этого не понимают, пока брюхо не подведёт. Никакой мех не спасёт от голода.

К вечеру мы проходим волок. Я падаю на песок и лежу, глядя в небо. Грудь ходит ходунном. Ждан садится рядом, протягивает мне воды в берестяном ковше. Я пью. Вода тёплая, пахнет тиной, но сейчас она вкуснее мёда.

И в этот самый миг, когда я сижу с ковшом в руке и смотрю, как солнце цепляется за верхушки сосен, я вдруг чувствую это — холодок между лопаток. Поднимаю голову. Высоко в небе, над самым Днепром, кружит ворон. Он то набирает высоту, то скользит вниз по невидимой дуге, и в его кружении есть что-то до того спокойное, до того привычное к смерти, что я отвожу взгляд. Я знаю эту птицу. Она летит вдоль реки, провожая нас.

Ждан смотрит на ворона задрав голову — ждёт знака славы. А я смотрю, как птица выбирает место сесть ниже по течению. Пададь чует раньше людей. Я думаю: «Ты уже здесь. Значит, будет чем поживиться».

— Дядько, — говорит Ждан тихо, — ты слышишь?

Я приподнимаюсь. Земля подо мной дрожит. Я кладу ладонь на песок — да, дрожит. Глухой, низкий гул передаётся через вибрацию дерева ладьи, лежащей на песке. Так дрожит земля, когда идёт конница. Много конницы.

Я помню этот звук. Я слышал его трижды. Первый раз — когда печенегі шли на Киев, и я, мальчишкой, лежал на берегу и не понимал, почему песок щекочет щёку. Второй раз — когда Ярослав собирал полки против Святополка, и я, уже молодой кормчий, стоял у пристани и смотрел, как уходят ладьи с дружиной. Третий раз — в тот самый день, когда мой Мирон... Я не знал тогда, в тот самый день. Я узнал потом, когда земля уже стихла. Я просто сидел на корме, держал рулевое весло и вдруг почувствовал, как дрожит дерево под рукой. Не от воды — от земли. Я подумал: «Где-то бьются». И только через неделю, когда ладья вернулась в Киев, мне сказали: «Твой сын пал под Черниговом. Славно бился. Я сам видел».

Я не заплакал. Пальцы побелели на рукояти весла. Желваки заходили на скулах. Я пошёл на берег, сел на песок и слушал. Но земля молчала. Она уже всё сказала. Я просто не понял.

— С запада, — говорю я сейчас. — Из степи.

Мы переглядываемся. Команда уже тоже услышала — все стоят, смотрят на край леса, за которым дорога на Переяславль. Топот нарастает. Я прикидываю расстояние: если это половцы, нам конец. Ладья на волоке, мы вымотаны, оружия — два ножа, топор да шесты.

— Все к ладье, — говорю спокойно. — Перевернуть, на воду. Быстро.

Мы бросаемся к учану. Переворачиваем его с катков — он падает в воду с громким плеском. Судорожно кидаем в него поклажу — колоды, бочки, мешки. Ждан уже на носу с шестом, Молчун — на весле. Я — на корме, кормило в руках.

Топот совсем близко. И вдруг из-за деревьев вылетает всадник.

Я всматриваюсь. Это не половец. Одежда русская, плащ-корзно на плечах, сапоги высокие, шлем с кольчужной бармицей. Конь в мыле. Всадник осаживает его у воды и кричит, задыхаясь:

— Стой! Стой, старик!

Я узнаю его. Это Добрыня, сотник из дружины князя Всеволода. Тот самый Добрыня, с которым мой Мирон когда-то уходил в поход.

— Чего тебе, сотник? — кричу в ответ.

— Князь киевский преставился! Братья мечи делят! Олег идёт на Чернигов с варягами! Изяслав зовёт всех, кто может меч держать! Ты меня помнишь?

— Помню.

— Твой сын, Мирон... — он замолкает, глядя на меня. — Он пал. Под Черниговом. Славно бился. Я сам видел.

— Знаю, — перебиваю я. — Не надо.

Я и правда знаю. Я знал это в тот самый день, когда земля под моими ногами вдруг вздрогнула, как сейчас, и я подумал: «Мирон». Я ничего не сказал тогда, только положил ладонь на песок и молчал. И сейчас я молчу.

— Идём со мной, — говорит Добрыня. — Люди нужны. Твой Ждан вон — молодец. Да и ты ещё крепок.

Я смотрю на него долго. Потом перевожу взгляд на Ждана. У моего племянника горят глаза — тот самый огонь, который я видел когда-то у Мирона. Я знаю, о чём он сейчас думает. О славе. О добыче. О чести.

— Нет, — говорю. — У меня ладья. У меня груз. У меня команда.

— Твой сын...

— Мой сын пал за княжью правду. А я хочу, чтобы хоть кто-то остался жив. Иди, сотник. Бог тебе в помощь. А нам — своя дорога.

Добрыня смотрит на меня с укоризной, потом разворачивает коня и уносится прочь — туда, откуда уже доносится гул сотен копыт. Через минуту мимо нас проходит конница. Много. Сотни три. Лица у всех хмурые, кони храпят, пахнет потом, кожей, железом. На нас даже не смотрят. Мы для них — просто люди с ладьёй, не воины, не добыча. Так, щепки на воде.

Когда последний всадник скрывается за поворотом, я выдыхаю. Ждан стоит, опустив голову. Крут и Мал переглядываются, но молчат. Молчун сплёвывает за борт — это у него вместо речи. Доброга качает головой и говорит тихо, будто сам себе:

— Опять. Как тогда. Как при Ярославе. Как при Владимире. Брат на брата. И конца не видно.

— Ты хотел идти, — говорю я Ждану.

— Хотел, — отвечает тихо.

— Ещё успеешь. Война — она, как река: никуда не денется. Всегда будет.

Он молчит. Я понимаю: он не простит мне этого. Или простит, но не сейчас. Сейчас ему кажется, что я отнял у него судьбу. А я знаю, что судьба — это не слава. Судьба — это когда ты ведёшь ладью через порог и возвращаешься домой. Вот что я хочу для него.

Мы сталкиваем ладью на глубокую воду и идём дальше. Ворон по-прежнему кружит над нами — он отстал было, когда шла конница, но теперь вернулся и снова режет небо над моей головой. Ждан смотрит на птицу снизу вверх. А я смотрю, как она выбирает место сесть ниже по течению. Я смотрю на неё и думаю: «Ты видел всё это. Ты видел, как умирал Ярослав. Ты видел, как его сыновья грызутся за стол. Ты увидишь ещё многое. А я — нет. И слава Богу».

Солнце садится. Где-то далеко, за лесом, земля продолжает дрожать. Там, наверное, уже строятся полки. Там, наверное, уже точат мечи и целуют кресты, которые через год или два будут нарушены. Там, наверное, молодые дружинники, такие же, как мой Мирон, смотрят на закат и думают о славе.

А я кладу руку на кормило и думаю о реке. Она не знает имён. Она не знает, кто такой Олег, кто такой Изяслав. Она просто течёт. И я теку вместе с ней. В этом моя правда. Может быть, единственная, которая чего-то стоит.

Глава 2. Взгляд со стороны. Сакс и Скандинав.

Пока старый кормчий Мирон вёл свой насад через пороги, а земля гудела под копытами конницы, в высоких теремах Киева и на драккарах, причаленных к берегам Днепра, жили другие люди. Они смотрели на ту же реку, на те же золотые купола, но видели их иначе. Они были чужаками. И их свидетельства, записанные на пергаменте и в сагах, хранят правду, которую не решился бы записать ни один русский книжник.

Не стоит верить каждому слову скальда или епископа. Саги писались веками позже ради славы родов Исландии. Но именно поэтому они честнее летописей: им не нужно было оправдывать грехи князей перед Богом, им нужно было лишь показать доблесть меча. А епископ Титмар, сидя в далёком Мерзебурге, записывал слухи купцов и послов, перевитые его собственной ненавистью к польскому королю Болеславу Храброму. И всё же — в этих искажённых зеркалах мы видим то, чего нет в наших летописях: взгляд со стороны. Холодный, расчётливый, лишённый святости.

Сакс Титмар, епископ Мерзебургский, никогда не был в Киеве. Но его «Хроника», законченная в 1018 году, полна рассказов о землях ругов — так он называл русов. Он записывал слова послов и купцов, доходивших до Саксонии, и в его тексте Русь предстаёт не как святая земля, а как грозное и жестокое государство, где власть держится на страхе и золоте.

«Город Киев, столица того государства, — писал Титмар, — превосходит все другие города этих областей. В нём находится более 400 церквей и 8 торговых площадей, а народ его, хотя и не знает истинной веры, боек и хитер в торговле. Но горе тому, кто переступит волю князя: там не знают пощады. Убийцу, если его поймают, тут же казнят, а имущество его отбирают. А если преступление совершит князь — он сам себе судья».

(Иные говорят, что епископ считал не храмы, а каждый крест над купеческой лавкой. Но даже если так — представьте себе город, где крестов больше, чем домов. Вот как видели нас из-за моря.)

Титмар рассказывает о Святополке Окаянном, которого он называет «сыном Владимира, правителем Киева». Его версия убийства Бориса и Глеба отличается от привычной нам, проникнутой святостью.

«Владимир, король ругов, умер, оставив двух сыновей: Святополка и Ярослава. Святополк, захватив власть, призвал к себе печенегов и начал войну с братом, который укрылся за морем. Ярослав же, собрав варягов, разбил брата и занял его место. Но и после победы он не знал покоя, ибо та земля любит сильную руку, а не милость».

Для Титмара это просто очередная варварская усобица. Никакого ореола мученичества, никакой «повинной головы». Кровавая распря, в которой побеждает тот, у кого больше мечей и серебра для найма иноземцев. Он сообщает, что в Киеве «без числа рабов и челяди, которых меняют на греческие ткани и вина», и что «дань, собираемая с подвластных городов, так велика, что князь может нанимать целые армии чужаков».

Эта сухая, деловая хроника немецкого епископа — как ледяная вода на голову. Она говорит то, о чём молчат наши летописи: **Киевская Русь в глазах Европы была варварской, но богатой и сильной. Её князья — обычные тираны, не лучше хазарских каганов. А святость, которой их окружили через сто лет, — не более чем политическая необходимость.**

А вот **скандинавские саги**, и особенно «Сага об Эймунде Хрингссоне», дают совершенно иной, почти «бытовой» взгляд на ту же эпоху. Она написана как захватывающая история о наёмниках-викингах, служащих Ярославу Мудрому.

Для Эймунда этот город был **Кёнугардом** — «Городом на киях», столицей **Гардарики** — «Страны городов». Местные звали его матерью городов русских, а мы называли просто

рынком, где серебро течёт рекой. Эймунд, молодой конунг, приходит со своей дружиной в Киев, когда Ярослав воюет со Святополком. Для сагиста это — типичный сюжет: «пришли на службу к восточному конунгу, получили золото и славу». Но детали, которые он сообщает, делают летописных князей людьми из плоти и крови.

Вот как сага описывает встречу Ярослава с наёмниками:

«Ярлислейв (Ярослав) сказал Эймунду: "Помоги мне, и я дам тебе много серебра и добра. Мой брат Бурицлейв (Святополк) хочет отнять у меня мою державу, и я не могу справиться с ним без вас, норманнов". Эймунд ответил: "Мы будем сражаться за тебя, конунг, но мы не хотим сидеть в осаде. Мы хотим биться в поле или ходить в набеги"».

Главное отличие саги от летописи — в финале. Согласно саге, это Эймунд и его люди настигают Святополка в лесу и убивают его. Не «Бог покарал», не «бежал в пустыню и там скончался», а — профессиональный удар копьем в спину, заказанный и оплаченный Ярославом.

«Эймунд пошел с двенадцатью мужами в лес, отыскал шатер Бурицлейва, пробил его копьем и поразил конунга. Затем он принес Ярлислейву голову брата и сказал: "Вот, конунг, я сделал, что ты просил. Теперь плати нам серебром и не скупись"».

В этом нет ни капли сакрального ужаса. Это деловой контракт: кровь за серебро. И платят хорошо — сага говорит о «чашах, полных золота». Викинги — не союзники, не крестоносцы, а наёмники, которым всё равно, кто прав. *«Вот, конунг, я сделал, что ты просил»*, — эта фраза — как квитанция об исполнении заказа.

Когда голова Бурицлейва покатила к ногам Ярослава, Эймунд ждал серебра. Он не думал о душе убитого, о проклятии рода или Божьем суде. Он думал о весе мешка, который ему принесут вечером. Ярослав же перекрестился, глядя на лицо брата, и приказал унести тело прочь, чтобы оно не оскверняло шатёр. Один искупал вину молитвами, другой пересчитывал добычу. Они воевали плечом к плечу, но жили в разных вселенных.

Русские носили кольчуги — броню из переплетённых железных колец. Варяги же шли в ламеллярных доспехах — железные пластины, нашитые рядами на кожу, похожие на чешую змеи. Когда они вставали в строй, солнце отражалось от них не тускло, как от кольчуги, а остро, как от рыбьего бока. Это делало их пугающе чужими на вид. Они не были «своими». Они были из другого мира, где честь измерялась весом серебра, а не глубиной крестного знамения.

И самое важное: сага даёт нам понять, **как сами скандинавы видели славян**. Для них славяне — «конунги и их люди» — не дикари, а богатые заказчики. Но и не равные. Они торгуют, нанимают, убивают, но их законы — не законы Севера. Это иной мир, с иной мерой чести. Честь там — у того, кто платит.

Сакс Титмар и скандинавская сага — это два разных голоса, которые вплетаются в хор русской земли. Один говорит о жестокости и силе, другой — о расчёте и наёмничестве. Но оба они подтверждают одно: **Киевская держава держалась не только на «любви к земле» и «прадедовской правде», но и на страхе, на деньгах, на мечах, приплывших с запада.**

Путята считал стога Нажира Твердытича, чтобы понять силу князя. А Эймунд считал кольца на шее Ярослава, чтобы понять цену своей верности. И тот, и другой искали одно — устойчивость системы. Только один смотрел снизу вверх, а другой — снаружи внутрь. Для Путаты земля была мерой власти. Для Эймунда — золото. А для земли не было разницы: и стога, и золото, и кости князей — всё это становилось ею в конце концов.

И как знать: может быть, старый кормчий Мирон, глядя на ворона, слышал не только скрип дерева о камень порога, но и звон эймундова серебра в кошеле убийцы, решившего судьбу Киева задолго до того, как монах взял в руки перо. Может быть, земля, которая гудела под его ладонью, помнила не только молитвы и подвиги, но и звон монет, и холодные взгляды наёмников, и строчки немецкого епископа, в которых Киев был просто «городом с 400 церквями и 8 торгами», а братская кровь — просто предметом торга.

Глава 3. Голос земли.

Ворон сел на гребень вала, когда солнце уже коснулось края леса за Вышгородом. Он сложил крылья, прошёлся по старому бревну, покрытому лишайником, и замер. Внизу, под ним, спала река. Внизу, под ним, спал город. Но ворон не спал. Он смотрел.

А под вороном, под бревном, под лишайником и дёрном, под слоем утрамбованной глины, под спрессованным песком, под угольной прослойкой хазарского пожарища — той, что осела на мою грудь ещё до того, как вы научились плавить железо, — под всем этим лежала я.

Я — та, на ком вы стоите. Та, кого вы топчете, роете, режете плугом и частоколом, та, кого вы поливаете кровью и золой, а потом называете святой и родной. Я не святая и не родная. Я просто земля. И я помню всё.

Я помню ледник. Он шёл с севера медленно, как время, и тащил за собой камни, которые царапали моё лицо. Я помню тяжесть мамонтов — они ступали по мне, и их ноги были шире, чем любая ваша изба. Я помню, как они уходили, а на смену им приходили люди с копьями из обломанного кремня. Они были маленькими, пугливыми, голодными. Они не резали меня плугом — они просто скребли мою поверхность, выкапывая корни.

А потом они научились жечь лес. Подсека. Я помню, как воняла моя плоть — горелой древесиной и золой. Огонь выедал мои внутренности, делал меня рыхлой и тёплой. Они бросали семена в мою горячую рану, и я рожала рожд. Три года. Четыре. Потом я уставала. И они уходили дальше, оставляя меня зарастать лесом. Я ждала. Я всегда умела ждать.

Вот сейчас, на моём гребне, сидит ворон. Я чувствую его когти — они впиваются в мою траву, в мою плоть. Я чувствую его вес — лёгкий, почти невесомый, но для меня и он различим. Он прилетел оттуда, с севера, где река стиснута порогами и где седой кормчий только что провёл свою ладью через Ненасытец. Я знаю этого кормчего. Я чувствовала его шаги по моему песку. Я чувствовала, как он упал на меня, вымотанный волоком, и как его ладонь легла на мою грудь, слушая топот. Он думал, что слушает конницу. Он не знал, что слушает меня. Что это я дрожу — не от копыт, а от предчувствия. Что это я передаю ему весть, которую он не хочет понять.

Люди думают, что память — это слова. Ваши летописи, ваши берестяные грамотки, ваши «Повести временных лет» — всё это дым. Слова сгорают, пергамент тлеет, память вымарывают, как Сильвестр вымарывает неуютное. А я помню иначе. Я помню телом. Каждое прикосновение остаётся во мне. Каждый удар топора, каждое босое копыто, каждый палец, сжимающий горсть моей плоти, каждый нож, вошедший в спину врага, — всё это оседает во мне слоями. Я — как колодец, только вместо воды — уголь, пепел, кость.

Под слоем праха лежит сизая глина — память о тех, кого бросили в ров живыми или мёртвыми, и чьи тела гнили там годами без солнца. Я чувствую этот слой. Он холодный, вязкий, пахнет ржавчиной. В нём нет воздуха. Только моя память.

Вы, нынешние, стоите на плечах мёртвых. Буквально. Вот здесь, под когтями ворона, под бревном частокола, лежит сошник. Железный, тяжёлый, из Волго-Камского края. Его привезли по воде, когда ваши предки поняли, что мотыга не берёт мою твердь. Рядом — обломок рала, деревянного, с костяными вставками. Мой дед пахал им, когда я была молодой. А ещё глубже — обугленные зёрна ржи, ячменя и проса. Целые слои. Я помню, как в них вгрызался огонь, когда вы жгли мои леса, чтобы посеять раз и уйти. Но вы не ушли. Вы остались. И тогда я стала вашей.

А вот ещё глубже — черепок горшка с зубчатым орнаментом по венчику. Его слепила женщина из северян три сотни лет назад. Я помню тепло её рук. Она стояла на коленях, и её пальцы месили мою плоть, смешивая её с водой. Она лепила дом для еды. Она не знала, что её горшок станет моей памятью. Но он стал.

Я помню, как вы жили родами. Вас было тесно за валами ваших городищ. Вы ставили частоколы, рыли рвы, и внутри этих укреплений жила одна большая семья — ваши деды, отцы, братья, их жёны, их дети. Общая печь, общая еда, общий страх перед лесом, в котором чужие. Я чувствовала на своей груди ваши общинные пашни — узкие, хищные полосы, которые вы вырывали у леса мотыгой и топором. Но род был тесен. Когда рождались новые дети, когда земля переставала кормить, вы начинали ссориться. Я чувствовала, как внутри валов зреет злоба. Как брат на брата поднимал руку, потому что один хотел больше, чем другой.

Я помню, как отцы семей выходили за межу. Они ставили свои избы на моих склонах, в стороне от валов. Они начинали пахать отдельно. Я чувствовала, как их плуги режут мою плоть, прокладывая борозды — первые борозды частной собственности. И тогда на смену роду пришла вервь. Соседи. Люди, которые жили рядом не потому, что были одной крови, а потому что так было выгоднее. Они резали дёрн ножами, укладывая куски один на другой, обозначая межу. "Отсюда — моё. Отсюда — твоё. И да будет между нами вечный мир, пока трава растёт". Я чувствовала, как вы делили меня на наделы. Как проводили межи — кольями, камнями, дёрном. Как клялись друг другу, что не перейдут эту межу, и как нарушали клятву. Я помню первый суд, который решил спор о меже. И помню, как князь наложил на нарушителя пеню — 12 гривен. Это было начало вашего закона. Закона, где я стала не просто землёй, а мерой власти.

Вот здесь, в третьем срубе от Золотых ворот, сидит обломок печенежской сабли. Он вошёл в бревно в год, когда вы называли его «годом великого стояния». Сабля была кривая, старая, со следами точила. Я почувствовала, как её хозяин умер — он упал на меня лицом вниз, и его кровь текла в щель между брёвнами, тёплая, густая, солёная. Кровь степняка пахла иначе, чем кровь русича. В ней было больше железа — сухого, каменистого, дамасского. Я впитала её. Он был враг. Теперь он — часть меня. Его сталь смешалась с моей глиной. И я не делю их. Я просто храню.

Вот здесь, на северном склоне, лежит парень из ополчения. Ему было, может, шестнадцать. Его ударили дубиной по голове, и он умер не сразу — я чувствовала, как его пальцы скребли мою траву, как он пытался подняться, как его губы шептали что-то, обращённое не ко мне. Может, имя матери. Может, молитву. Я не разобрала. Потом он затих, и его засыпали вместе с другими — общая могила, негашёная известь сверху, чтобы не было мора. Известь жгла мою плоть, выедала её, оставляя белые пятна на многие годы. Я чувствовала этот ожог. Я помню его до сих пор. Он лежит во мне до сих пор. Его кости стали мной. Его страх стал мной. Его правда — если она у него была — стала мной.

А ещё я помню тяжесть княжеских плугов. Ольга. Она прошла по Деревской земле, устанавливая уставы и уроки. Я чувствовала её погосты — те места, куда смерды должны были свозить дань. Она не воевала с ними мечом — она воевала мерой. Она шла с мерной тростью. «Отсюда досюда — урок. Отсюда досюда — оброк. Ты будешь давать мне столько-то хлеба, столько-то мёда, столько-то шкур. И это будет законом». И моя грудь впервые ощутила укол цифры. До неё брали дань шкурами — частью меня. Она начала брать временем моей жизни.

«Земля теперь моя, — говорила она, — и вы будете кормить меня с неё». Она забирала не просто меха и мёд. Она забирала хлеб. Она забирала труд. Она забирала меня. Это была не охота. Это было поедание. Они приходили каждый год в одно и то же время и забирали часть моего дыхания, превращая мой пот в свои амбары. Рента. Имя этому — рента. Её челядь — те, кто пахал её поля, кто доил её коров, кто строил её хоромы, — они стали моей тяжестью. Я чувствовала их босые ноги на своей пашне, их пот, их усталость. Они не были рабами в вашем смысле. Но они были привязаны к земле, как я привязана к небу.

Все ваши правды становятся мной в конце концов. Вот что я хочу вам сказать. Вы делите небо, делите столы, делите «отчины» и «дедины», а в итоге делите меня. И я принимаю всех. Я не спрашиваю, кто прав. Я просто открываюсь — и вы ложитесь.

Ваш Христос обещал вам жизнь вечную на небе. Смешные. Ваша вечность здесь. В моём перегнутом. Тот хлеб, который вы едите сегодня, вырос на костях ваших дедов. Вы кормите детей мясом тех, кто умер пятьдесят лет назад. Вот ваша причастие. Я — ваш Бог. Не тот, что на облаках, — тот, что под ногами. Вы молитесь мне каждый раз, когда идёте по моей плоти. Вы проклинаете меня каждый раз, когда я не рождаю. Но я рожаю. Всегда рожаю. Потому что я — мать. Даже если вы называете меня грязью.

Сейчас я чувствую: что-то меняется. Не в первый раз. Я пережила ледник, мамонтов, хазар, печенегов, варягов, Ярослава, переживу и этих. Но сейчас — особенно тревожно. С вершины вала, с моего гребня, я вижу больше, чем вы. Не глазами — у меня нет глаз. Я чувствую. Я чувствую, как далеко на юге горит степь. Я чувствую, как на севере, в Новгороде, точат топоры. Я чувствую, как в Полоцке тлеет обида — та самая, которой сто лет, которая началась ещё с Рогнеды и Владимира и никак не угаснет. Я чувствую, как по всем дорогам, расходящимся от Киева, скачут гонцы. Кони бьют копытами. Моя пыль поднимается и оседает на придорожных лопухах. Я чувствую вибрацию их копыт за десять поприщ до того, как вы увидите пыль на горизонте. Они думают, что топот слышен ушами. Нет. Я слышу его костями.

Я чувствую, как у Золотых ворот сменился ветер. Он пахнет не просто дымом очагов — он пахнет близкой бедой. Я чувствую, как на Лысой горе старик припадает ухом к моему мху и слушает. Я слышу его вопрос — не словами, а вибрацией. Я отвечаю ему гулом, но он не всё понимает. Он думает, что это кони. А это — время. Время ускоряется.

Я чувствую, как корни дубов на моих склонах начинают дрожать. Они знают то, чего ещё не знаете вы: скоро здесь будет расти не трава, а пепел. Скоро мои срубы-городни будут гореть, и я буду чувствовать жар — не тот, ровный жар очага, который греет, а тот, рваный, злой, который пожирает всё. Я помню такой жар. Он приходил трижды. И он придёт снова.

Ворон на гребне расправил крылья. Он почистил перья, клюнул что-то в древесине — может быть, личинку, может быть, щепку, — и взлетел. Его тень скользнула по моей траве и исчезла. Я проводила её всей своей тишиной. Он ещё вернётся. Они все возвращаются. Князя, воины, смерды, половцы, варяги — все, кто топчет мою траву. Все, кто слышит свой звон и не слышит моего гула.

А я буду здесь. Я буду ждать. И когда последний из вас упадёт лицом в мою пыль, я приму его. Без гнева. Без жалости. Без суда. Потому что суд — это ваше. А я — земля. Я просто помню.

Глава 4. От Огня к Борозде

Глина пахнет так же, как кровь. Если её смочить водой, она становится тёмной, тягучей, послушной. Если дать ей высохнуть — она твердеет, но остаётся хрупкой, как кость после пожара. А если обжечь в горне, она становится каменной. Навсегда.

Я знаю глину. Я прожил с ней сорок лет.

Меня зовут Демьян. Я гончар с Копырева конца. Мой отец был гончаром. Его отец — тоже, насколько я помню по рассказам. Может, и прадед, и пращур, но кто их знает? Глина не хранит имён, она хранит форму. Я смотрю на свои руки — они в трещинах, ногти чёрные от земли, кожа шершавая, как корка хлеба. Это не руки воина. Это руки того, кто делает горшки.

Их много в моей жизни — горшков, крынок, мисок, корчаг. Но есть у меня одно изделие, которое я не продаю ни за какие деньги. Я храню его на полке, укрытое тряпицей. Это горшок, который я сделал, когда мне было четырнадцать, — первый горшок, который не развалился в печи. Он кривой, с неровным венчиком, стенки слишком толстые. Но он цел. Он — моя память о том, как я учился. Как я понял, что глина — это не грязь. Глина — это начало.

Каждое утро я просыпаюсь в своей мастерской на Подоле. Слышу, как течёт Днепр за стеной, как кричат лодочники, как звенит наковальня у соседа-кузнеца. Я разминаю глину. Это как молитва. Беру комок сырой, холодной глины, бью его о стол, складываю, снова бью — и так, пока он не станет однородным, пока воздух не выйдет, пока не исчезнут пустоты. Без этого горшок лопнет в горне, и вся работа насмарку.

Мне часто говорят: «Демьян, ты слишком много думаешь о глине. Это просто земля, мокрая и липкая». Я улыбаюсь. Люди, которые так говорят, не знают, что такое земля. Они ходят по ней, пашут её, воюют за неё, а не знают её. Они не чувствуют, как она меняется под пальцами, как в ней живёт тепло, как она дышит. Я знаю. Я знаю её язык.

Я смотрю на утро за окном и думаю о том, как всё начиналось. Я помню рассказы отца, а он помнил рассказы деда. Когда-то, говорят, землю не пахали — её жгли. Люди вырубали лес, оставляли его сохнуть, а потом поджигали. Зола удобряла почву, и три-четыре года они сеяли на этом месте. Потом земля истощалась, и они переходили дальше. Подсека. Огонь был главным орудием. Топор — вторым. А плуга не было — потому что не было нужды в глубокой борозде, когда поле меняется каждые несколько лет.

Отец рассказывал, как в его детстве ещё старики помнили те времена. Как ходили с топорами в лес, как валили деревья, как жгли их, как первый дым стоял над лесом неделями. Как земля после огня была рыхлой и тёплой, и в неё бросали семена просто горстью. И урожай был хороший — потому что зола. Потому что огонь давал силу.

Но огонь — он, как любой зверь. Его надо кормить. И когда он съедает лес, он уходит. И люди уходят за ним. Они не строили домов на века, не ставили оград — потому что знали: через четыре года здесь снова вырастет лес, а они будут далеко.

А потом что-то изменилось.

Я не знаю, когда именно. Может, сто лет назад. Может, двести. Но люди перестали уходить. Они нашли место, где земля была жирной и тёмной, и решили: «Здесь мы останемся». И вместо топора в руки взяли рало. Вместо того чтобы жечь лес, стали впрягать быков и резать землю. Глубокая борозда. Слой за слоем. Вверх — вниз. И земля, которую они вспахали, уже не уходила. Она становилась их.

Я представляю этот миг. Первый раз, когда человек провёл по полю соху. Наверное, земля вздрогнула. Наверное, она почувствовала: что-то меняется. Огонь был её врагом. А плуг стал её мужем. Он брал её, открывал её, делал плодородной. И она отвечала ему хлебом.

Теперь у нас трёхполье. Я не пахарь, но я знаю, как это работает. Одно поле — под озимые, другое — под яровые, третье — отдыхает. Каждый год они меняются. Лошадь впряжена

в соху — железный наконечник режет землю легче, чем деревянный, глубже. Мужики говорят, что урожай стал вдвое больше. Я верю. Я вижу это по рынку: зерна много, рожь дешёвая, хлеба вдоволь. Голод теперь — редкость, только если лето засушливое или война помешает собрать.

Я делаю корчаги для разного зерна. Широкие, с узким горлом — для проса, чтобы мыши не лезли. Высокие, с плотной крышкой — для ржи, она сыпучая, любит рассыпаться. Плоские миски для пшеничной муки — её теперь много, её можно просеивать и печь чистый хлеб. А ещё я вижу, как мужики приносят на рынок ячмень и гречу. Греча — новая, она пришла откуда-то с востока, но прижилась. Старики говорят, что раньше её не сеяли. А теперь сеют — потому что она не боится засухи. Земля меняется. И мы меняемся вместе с ней.

Однажды, когда я стоял у горна, ко мне подошёл сосед-плотник. Он был из тех, кто любит поговорить, кто знает всё обо всех. Он ткнул пальцем в мои корчаги и сказал:

— Ты всё горшки лепишь, Демьян. А я слышал, будто мы, русы, только тем и жили, что белок с куниц по лесам стреляли. Якобы торговля мехами была главнее хлеба. Что скажешь?

Я улыбнулся и покачал головой. Этот спор я слышал много раз. Учёные мужи из Киева, которые сидят в тёплых хоромах и пишут грамоты, любят повторять, будто земля наша была дикой, а народ наш — охотниками. Но я-то знаю правду. Я вижу её в своей глине.

— Пусть тот в лес идёт, — сказал я плотнику. — Меха — они для богатых, для бояр, для торгова с греками. А я вот смотрел: у лодочников в мешках нет мехов, только зерно. Когда приходит осень, у каждого двора дымят овины, сушат снопы. Когда в поле засуха — мы голодаем, а не бегаем с луками за белками. Если кто говорит иначе, он просто не видел, как мы страдаем от неурожая. Я помню 1161 год. Помнишь? Лето стояло сухое, всё пригорело. А на осень ударил мороз, и ярь погибла. Мы покупали кадку ржи по 7 кун — это были последние деньги. Никакой мех не спас бы нас тогда. Только хлеб. Только то, что родила земля. Хлеб — это наша база. Всё остальное — прихоть.

Плотник почесал затылок и ушёл. А я остался у горна и долго смотрел на огонь. Я думал о том, как люди не хотят видеть очевидного. Как они верят в сказки о богатых охотниках, потому что это красивее, чем правда о хлебе и глине. Но правда — она в земле. В каждом зерне, что я вижу на рынке. В каждой корчаге, что я делаю. И я, гончар, знаю это лучше любого княжеского мудреца.

Война. Это слово я ненавижу. Не потому, что я трус. Я не воин, но я не боюсь смерти. Я боюсь того, что война делает с землёй. Она сжигает поля, вытаптывает посевы, разрывает дерн копытами. И когда полки проходят, земля остаётся израненной, как тело после битвы. Ей нужны годы, чтобы залечить раны. А мы — мы зависим от неё. От её милости.

Я вспоминаю прошлый год. Тогда в Киев пришла весть, что где-то под Черниговом брат пошёл на брата. Сначала это казалось далёким, как гром за лесом. Но потом беженцы потянулись к Киеву. Их было немного, но они были: женщины с детьми, старики, один или двое раненых, которых везли на телегах. Они стояли у нашего дома, у моей мастерской, и я выносил им воду. Вода в глиняной кринке — она холодная, тёплая только на ощупь. Они брали, пили и благодарили. А я смотрел на их лица и думал: «Вы — тоже земля. Вы — тоже глина. И когда вы уйдёте, ваши кости лягут в меня, и я буду хранить вас, как храню черепки».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.